

# К проблеме “восстания масс” (Степун и Шпенглер)\*

В.К. КАНТОР

Стоит, наверно, начать этот текст с констатации факта, что шпенглеровские катастрофические соображения о судьбе Запада не были неожиданностью для русской мысли. Можно сказать, русские мыслители их ждали. Перечислять российские пророчества не буду, их слишком много (Чаадаев, Хомяков, Тютчев, Леонтьев, Соловьев, Данилевский и т.д.). Русская мысль, как заметил как-то Бердяев, выростала как мысль о философии истории. Россия пыталась осознать себя в контексте мирового развития, учеба в немецкой школе философствования много этому способствовала. Попробую обозначить, как звучали эти темы.

Кант, говоря о начале истории, связывал это начало с изгнанием из рая Адама и Евы. Это была первая катастрофа человеческого рода, задавшая историческое, или пока еще, протоисторическое движение. Это Ветхий Завет, воспринятый немецким мыслителем как актуальное событие. Мы часто забываем не только об исторической, но и о географической близости мест, где рождалось понятие истории. Иерусалим был вроде и далеко от Афин, а вроде и не очень. Рядом Египет, откуда вывел евреев Моисей (из рабства египетского), но у египтян учиться и Платон. Рядом с евреями персы, которые покоряют Иудею, но с персами воюет и древняя Греция. А единый Бог Ветхого завета через Иосифа Флавия легко сопрягся с идеей высшего блага у Платона.

Философия истории родилась в христианском контексте. Афины и Иерусалим сошлись вместе в христианстве, чтобы дать философию истории. В России – это тема Л. Шестова. Становление Европы – мутация, случайность, которая стала закономерностью, определив собой жизнь земного человечества. Маленький полуостров среди азиатского моря. Но и Ветхий завет, где люди заключают договор с Богом, тоже необычность. Вот эти две необычности сошлись, чтобы родить историю. Но история трагична, развивается через трагедию, которая так явно слышится в древнегреческой и ветхозаветной культуре.

Но именно через трагедию обозначается высший смысл человеческого бытия.

Не могу не привести стихотворения Тютчева, которое вводит нас в духовные переживания русскими интеллектуалами судьбы Запада. Оно написано после парижской революции 1830 г. А Париж был в восприятии тех лет новым Римом.

## ЦИЦЕРОН

Оратор римский говорил  
Средь бурь гражданских и тревоги:  
“Я поздно встал – и на дороге  
Застигнут ночью Рима был!”  
Так!.. но, прощаясь с римской славой,  
С Капитолийской высоты  
Во всем величье видел ты  
Закат звезды ее кровавой!..

Счастлив, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые!  
Его призвали всеблагие  
Как собеседника на пир.

---

\* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФНФ (проект “Изображая, понимать, или Sententia sensa (философия в литературном тексте)” № 14-03-00494a). The work is supported by Russian Foundation for Humanities (project “Portraying to understand, or Sententia sense (philosophy in literary text)” № 14-03-00494a).

© Кантор В.К., 2015 г.

Он их высоких зрелищ зритель,  
Он в их совет допущен был –  
И заживо, как небожитель,  
Из чаши их бессмертье пил!

Явление Шпенглера было неожиданностью для Европы, как и многое в XX в. Невеоятные технические открытия: радио, телефон, самолет, динамит, – немыслимые ранее события: открытие Северного полюса, мировая война, удушающие газы, русская революция, миллионная эмиграция в Европу иностранцев... Книга Шпенглера “Закат Европы” (*Der Untergang des Abendlandes*) попала в этот фантастический ряд. Книга его была кем-то встречена с восторгом, кем-то с ужасом, во всяком случае, интеллектуальной элите европейцев показалось, что она отвечает на многое непонятое, вдруг проявившееся в европейской истории. Ощущение конца Европы, точнее, конца Запада чувствовали многие. Ведь конец Европы для многих европоцентристов конец развития человечества. Скажем, Владимир Соловьев в своих “Трех разговорах” это предвидел, Томас Манн, прочитав книгу Шпенглера, несмотря на свою близость идеям “консервативной революции”, назвал своего соотечественника, ставшего в момент самым знаменитым немецким мыслителем, “пораженцем рода человеческого” [Манн 1960, 613]. Российские интеллектуалы восприняли книгу Шпенглера как нечто давно ожидаемое. Неожиданно русские эмигранты из тела шпенглеровской книги родили целое течение – евразийство, которое как бы получило немецкую санкцию, ибо немец объявил о закате (даже гибели) Запада. Хотя Шпенглер противопоставил идею истории идее природы, евразийцев это не смутило. “*Мир-как-история*, понятый, увиденный, оформленный из своей противоположности, – писал немецкий мыслитель, – *мира-как-природы*, – вот новый аспект человеческого бытия на этой планете, выяснение которого во всем его практическом и теоретическом значении осталось до сегодняшнего дня неосознанной, возможно, смутно ощущаемой, часто лишь угадываемой и никогда еще не осуществленной задачей со всеми вытекающими из нее последствиями” [Шпенглер 1993, 131]. И вместе с тем, приняв ее как должное, практически все, кроме евразийцев, искали в истории и в духе моментов, которые противостояли бы Шпенглеру, не трагизму, а именно пессимизму.

В 1920 г. как бы независимо от книги Шпенглера “возник, – как пишет Степун, – таинственный слух” в Москве, что Н.С. Трубецкой выпустил “небольшую, но очень содержательную работу” “Европа и человечество”. Трубецкой уверял, что книгу Шпенглера не знал, хотя с 1918 г. по 1920 г. вышло 32 издания 1 тома *Der Untergang des Abendlandes*. Степун говорит о сочинении Трубецкого лишь в контексте книги Шпенглера, при этом замечая, что, слушая рассказ молодого ученого о работе Трубецкого, “ловил себя на мысли, что не вполне доверяю ему” [Степун 1990 II, 275]. Впрочем, если говорить о дальнейшем, евразийцев он категорически не принимал, ставя евразийство в один ряд с большевизмом и нацизмом, испытывавших своего рода восторг от монгольского нашествия, ворвавшегося на Русь из-за границы восстанием масс. Впрочем, когда Ортега-и-Гассет говорил о внутреннем вторжении варварства, возможно, стоило сделать поправку на условность границ XIII в., когда степняки были в каком-то смысле частью Руси, как галлы и германцы частью великого Рима. Приняв многие соображения Шпенглера, евразийцы вместе с тем взглянули на Европу и на “мир истории” с точки зрения “мира природы”, противопоставив “логику пространства” “логике времени”: все исторические изменения, по их мнению, ничего не определяют, определяет все “месторазвитие”, бог данного места, *идея вполне языческая*. Поэтому-де важно, что большевики восстановили и снова соединили в некое целое бывшее пространство монгольской орды. Впрочем, Бердяев неслучайно задавал вопрос: “Но существует ли история у самого Шпенглера, у него, для которого мир есть прежде всего история, а не природа? Я думаю, что для Шпенглера не существует история и для него невозможна философия истории. <...> Историческая судьба, судьба культуры существует для Шпенглера лишь в том смысле, в каком существует судьба цветка” [Бердяев 1922, 61]<sup>1</sup>. Если так, то основания для такого вычитывания аисторического начала в его книге у евразийцев были. Ход характерный для русской ментальности. Так же в этот момент подтверждали свои злодеяния русские социалисты ссылкой на немецкий марксизм.

Короче, русские вновь открыли некую истину в немецких теоретических построениях. Но не столь восторженные как евразийцы русские религиозные философы приняли трактат Шпенглера с осторожностью. Если так можно сказать с восторженной осторожностью. Даже Степун внесший книгу Шпенглера в пространство русской культуры: «Я неожиданно получил из Германии первый том “Заката Европы”, – вспоминал Степун. – Бердяев предложил мне прочесть о нем доклад на публичном заседании Религиозно-философской академии. Я с радостью согласился и с чувством пещерного жителя, к которому через узкую щель чудом проник утренний свет, принялся за изучение объемистого тома. Волнение, с которым я работал над Шпенглером в своем деревенском кабинете, и поныне каждый раз оживает во мне, как только я открываю “Закат Европы”. <...> Обдумывая доклад, я медленно ходил по саду и подолгу просиживал на скамейке в конце парка. <...> Неужели, – спрашивал я себя, – Шпенглер действительно прав, неужели к Европе и впрямь приближается смертный час? Но если так, то кто спасет Россию? Вместе с болью о России (повсюду горели имения, со злобой изничтожался сельскохозяйственный инвентарь, бессмысленно вырезывался племенной скот и растаскивались на топливо и цыгарки бесценные библиотеки) – росла в душе и тоска по Европе. Самый вид, самый запах полученной из вражеской Германии книги волновал каким-то почти поэтическим волнением» [Степун 1990 II, 275–276]. Мы помним печаль Блока о сожженной в его усадьбе библиотеке. Книга, казалось бы, самим фактом существования раздражала развернувшееся в России восстание масс, разрушавшее высокую культуру русского дворянства. Тех самых масс, которые русские интеллектуалы называли народом и весь девятнадцатый век мечтали их освободить. Друг Степуна Георгий Федотов пятнадцатью годами позже, уже в эмиграции, пережив все ужасы русской и немецкой революций, писал: “Одна из самых страшных черт нашего времени – это попрание свободы со стороны восставших масс. Мы привыкли ждать угрозы для свободы от королей, стремящихся к самодержавию, от генералов, идущих на захват власти. Но это схема XIX века совершенно непригодна для объяснения событий нашего времени. Опасность пришла не с той стороны, откуда ее ждали. Свободу разрушает восставший в разных революциях, под разными знаменами народ, отдающий свою волю, свою совесть и душу в руки врагов свободы” [Федотов 2014, 62]. А поскольку Европа родила пространство свободы, основанное на разуме (Гуссерль), то книга Шпенглера, говорившая об иссякании европейского духа, особенно на фоне страшной войны и революции, пришлось как нельзя более кстати в контексте размышлений о судьбе Европы.

Впрочем, необходимо отметить, что один из предшественников Шпенглера, а именно Фридрих Ницше, заговорил о наступлении на мир массы (“стада”), гениально объяснив причину этого явления. После ухода Бога наступает снова стадный период в истории человечества. Ницше констатировал (в “Воле к власти”) жестко, как всегда: «Предположим теперь, что вера в Бога исчезла, возникает снова вопрос – “кто говорит?” – Мой ответ, взятый не из метафизики, а из физиологии животных – *говорит стадный инстинкт*. Он *хочет* быть господином (отсюда его “ты должен”), он признаёт отдельного индивида только в согласии с целым и в интересах целого, он ненавидит порывающего свои связи с целым, он обращает ненависть всех остальных единиц против него» [Ницше 2005, 173]. Надо сказать, что даже без ссылок на Ницше, русские мыслители следом за Достоевским чувствовали причину наступившей катастрофы именно в обезбоживании мира. А Шпенглер именно об омассовлении Европы, строго говоря, и написал свою книгу: «Перед лицом этих новых, чисто умственных образований не должно быть никаких сомнений относительно их живого носителя, “нового человека”, на которого с надеждой смотрят все упадочные эпохи. Это бесформенно наводняющая большие города чернь вместо народа, оторванная от корней городской масса, οἱ λοῦλοι, как говорили в Афинах, вместо сросшегося с природой и даже на городской почве все еще сохраняющего крестьянские повадки человека культурного ландшафта. Это завсегдаятай александрийской и римской агоры и его “современник”, новейший читатель газет; этот “образованец”, все тот же приверженец культа духовной посредственности, для которого публичность служит местом отправления культа, тогда и нынче; это античный и западный любитель театра и злчных мест, спорта и злободневной литературы. Именно эта запоздалая масса, а вовсе не “человечество” оказывается объектом стои-

ческой и социалистической пропаганды” [Шпенглер 1993, 547]. Или, по словам Марины Цветаевой: “читатели газет – глотатели пустот”. Называя перспективу массы “лягушачьей перспективой” (миллионы икринок), Шпенглер выход видит только в явлении новых Цезарей, которые возьмут под свой контроль эту лягушачью икру. Причем Цезарь должен преодолеть диктат массы, как бы ни был он кровно с ней связан, более того, цезарь должен овладеть и партией, которая центрирует эту лягушачью сеть, покрывающую трясины, и владычествовать над трясиной. Формула Ленина была им выговорена в работе «Детская болезнь “левизны” в коммунизме» (1920 г.) и звучала так: “Вожди – партия – класс – масса”. Заметив в книге “Годы решений”, что примером для Муссолини был Ленин, Шпенглер писал: “Цезаризм будущего победит не речами, а оружием. <...> Сформировавшийся цезаризм – это диктатура, но диктатура не партии, а одного человека над всеми партиями, прежде всего над своей собственной” [Шпенглер 2007, 168, 170].

Эти проблемы, поставленные Шпенглером, как понятно, были абсолютно русскими проблемами, поскольку все эти сюжеты были разыграны в России, по крайней мере, на несколько лет раньше, чем в Западной Европе. Переход Серебряного века в тоталитарную деспотию был осознан уже в 20-е гг. прошлого века. Личность выводилась за скобки, вместо нее вставало грозное МЫ. Беда была в том, что сама личность отказывалась от себя. Уже в конце века эту ситуацию с лаконизмом формулы выразил поэт Наум Коржавин: “Необъятные личности жаждут построиться в роты” (поэма “Конец века”). И надо сказать, ответ русских мыслителей Шпенглеру, в том числе и ответ Степуна, не преодолевал всю глубину вопросов, поставленных немецким мыслителем, интеллектуально явно превосходявшим своих оппонентов. Но в этих ответах звучала живая жизнь, практически убранный из мощных историософских конструкций великого немца. А живая жизнь (уж так устроено мироздание) имеет перед теорией преимущество подлинности.

Прочитанные Степуном доклады инициировали интерес к книге немецкого мыслителя. Надо к этому добавить, что по справедливому замечанию Галины Тиме, сама идея заката Европы для русской мысли традиционно несла в себе множество самых противоречивых мировоззренческих и идеологических значений, связанных со сложным отношением к Западу. Вольно или невольно Шпенглер затронул одну из самых чувствительных струн русской души, о чем писал Мандельштам: “Есть великая славянская мечта о прекращении истории в западном значении слова, как ее понимал Чаадаев” [Мандельштам 1993, 198]. Но первое знакомство с текстом Шпенглера русской публики все же состоялось после лекций Степуна, а затем и сборника, им подготовленного: “Освальд Шпенглер и Закат Европы”, в котором были опубликованы четыре статьи: Федор Степун “Освальд Шпенглер и Закат Европы”; Семен Франк “Кризис Западной культуры”, Николай Бердяев “Предсмертные мысли Фауста”; Яков Бухшпан “Непреодоленный рационализм”. И знакомство со Шпенглером шло через этот вполне культуртрегерский сборник. Статья Степуна, открывавшая сборник, начиналась словами: «Книга Шпенглера – не просто книга: не та штампованная форма, в которую ученые последних десятилетий привыкли сносить свои мертвые знания. Она создание если и не великого художника, то все же большого артиста. Образ совершенной книги Ницше иной раз как бы проносится над ее строками. В ней все, как требовал величайший писатель Германии, “лично пережито и выстрадано”. <...> Книга Шпенглера творение – следовательно, организм – следовательно, живое лицо. Выражение ее лица – выражение страдания» [Степун 1922, 5]. И далее, с уважением, но жестко русские мыслители доказывали, что говорить о гибели Запада пока не приходится, даже о гибели России не стоит думать. Это кризис, это катастрофа, но еще не крушение, еще можно противопоставить этому демонизму силу духа.

Степун вспоминал: “Нет, – возражал я мысленно Шпенглеру, – подлинная, то есть христиански-гуманитарная культура Европы не погибнет, не погибнет уже потому, что, знаю, не погибнет та Россия, которая, по словам Герцена, на властный призыв Петра к европеизации уже через сто лет ответила гениальным явлением Пушкина. Самый факт быстрого расцвета русской культуры 19-го века, в результате встречи России с Западом в годы Отечественной войны, представлялся мне неопровержимым доказательством таящейся в Европе жизни. <...> Даже и большевизм не подрывал моего оптимизма, так как казался не

столько русскою формою того рационального марксистского социализма, в котором Шпенглер усматривал симптом гибели Европы, сколько **скифским пожарищем**, в котором сгорал не семенной запас европейской культуры, а лишь отмоленная солома буржуазно-социалистической идеологии” [Степун 1990 II, 277]. И далее, может, самое принципиально важное: “Не верил я в неизбежную гибель Европы еще и потому, что ощущал историю не царством неизбежных законов, а миром свободы, греха и подвига” [Степун 1990 II, 277].

Похоже, что В.И. Ленин, сделавший сборник о Шпенглере отправной точкой для высылки в 1922 г. инакомыслящей интеллигенции из Советской России, о Шпенглере узнал именно из этого сборника. Если Шпенглер с гордостью и твердостью стоика говорил о закате Запада и о приходе новой цезаристской эпохи, то Ленин уловил из русского сборника о немецком культурфилософе, что тот страдает по поводу гибели западной Европы. Поэтому Ленин, первый европейский Цезарь XX столетия, ликующим тоном утверждал все преимущество большевистского мировоззрения. 5 марта он написал на сборнике, что это “прикрытие белогвардейской организации” [Ленин 1967–1975 LIV, 198], а 5 мая, уже как человек, проникнувший в суть дела, заявил в “Правде”, обозвав в очередной раз русских интеллектуалов “образованными мещанами”: “Старая буржуазная и империалистская Европа, которая привыкла считать себя пупом земли, загнила и лопнула в первой империалистской войне, как вонючий нарыв. Как бы ни хныкали по этому поводу Шпенглеры и все способные восторгаться (или хотя бы заниматься) им образованные мещане, но этот упадок старой Европы означает лишь один из эпизодов в истории падения мировой буржуазии, обожравшейся империалистским грабежом и угнетением большинства населения земли” [Ленин 1967–1975 XLV, 174]. А 15 мая, т.е. спустя два месяца, в Уголовный кодекс по предложению Ленина вносится положение о “высылке за границу”. В результате секретных переговоров между вождем и “опричниками-чекистами” (Степун) был выработан план о высылке российских интеллектуалов на Запад. Так антишпенглеровский сборник совершенно неожиданно “вывез” его авторов в Европу из “скифского пожарища”.

Большевизм, строго говоря, был первым победившим в Европе “восстанием масс”, уничтожившим элементы вестернизации в России. Не случайно накануне расцвета нацизма утвердились в той же Германии идеи *контрвестернизации*. Лидеры “консервативной революции” (Эрнст Юнгер и др.) требовали уничтожения индивидуалистического “западного” сознания в Германии, ибо это сознание низводит все великие культуры до *цивилизации*. Скажем, Шпенглер как представитель окраинной, менее западной страны, нежели другие европейские страны, был одним из вдохновителей, быть может, последней попытки Германии пойти своим особым, “немецким” путем. На почве *особых путей*, почве *отказа от общечеловеческих ценностей*, вырастали “волки площадей” – человеческие стаи, где определяющим составом становился “человек массы”, описанный западными философами (Элиасом Канетти, Шпенглером, Ортегой-и-Гассетом, Романо Гвардини) как персонаж, определяющий судьбу XX столетия. В 1950 г., еще полный переживания от недавнего господства фашистского “человека массы” в Германии, немецкий философ Гвардини утверждал: «Масса в сегодняшнем смысле слова... не множество неразвитых, но способных к развитию отдельных существ; она с самого начала подчинена другой структуре: нормирующему закону, образцом для которого служит функционирование машины. Таковы даже самые высокоразвитые индивиды массы. Более того, именно они отчетливо сознают этот свой характер, именно они формируют этос и стиль массы... <...> Применительно к этим людям нельзя больше говорить о личности и субъективности в прежнем смысле. Такой человек не устремляет свою волю на то, чтобы хранить самобытность и прожить жизнь по-своему. <...> Для него естественно встраиваться в организацию – эту форму массы – и повиноваться программе, ибо таким способом “человеку без личности” задается направление. Инстинктивное стремление этой человеческой структуры – прятать свою самобытность, оставаясь анонимным, словно в самобытности источник всякой несправедливости, зол и бед» [Гвардини 1990, 145].

Это положение дел снова вызывало у русских европейцев ощущение гибели Европы (напомню “Цицерон” Тютчева), которое гениально передала в трагическом стихотворении 1940 г. Анна Ахматова:

Когда погребают эпоху,  
Надгробный псалом не звучит,  
Крапиве, чертополоху  
Украстить ее предстоит.  
И только могильщики лихо  
Работают. Дело не ждет!  
И тихо, так, Господи, тихо,  
Что слышно, как время идет.  
А после она выплывает,  
Как труп на весенней реке, –  
Но матери сын не узнает,  
И внук отвернется в тоске.  
И клонятся головы ниже,  
Как маятник, ходит луна.  
Так вот – над погибшим Парижем  
Такая теперь тишина.

А в стихотворении 1942 г. она же задала интонацию несгибаемости:

Мы знаем, что ныне лежит на весах  
И что совершается ныне.  
Час мужества пробил на наших часах,  
И мужество нас не покинет.

Русские европейцы не приняли существующий кровавый мир Европы именно во имя выработанной европейским гуманизмом идеи. Париж погиб, но русские эмигранты встали на защиту европейских ценностей. Как это сформулировал философ, “против фашизма и коммунизма мы защищаем вечную правду личности и ее свободы – прежде всего свободы духа” [Федотов 1973, 139].

Пессимизм немецких культурфилософов был категорически не принят русскими мыслителями-эмигрантами, бежавшими от такого же почти, как и в Германии, “восстания масс”, только из страны с еще большей традицией внеличного, общинного состояния культуры. И именно они, понимая и говоря, что православие оказалось бессильно утвердить христианскую идею личности в России, были глубоко убеждены в конечной победе христианского идеала личности. Ибо, как писал Г.П. Федотов, “в тех странах, которые сейчас являются ведущими в борьбе за демократию, христианские корни свободы еще живы; есть еще люди, способные умирать не только за родину, не только за равенство, но и за свободу” [Федотов 1992, 275].

Подводя итоги страшной эпохи, Федор Степун писал: «Тотчас после Первой мировой войны на Востоке европейского континента началась новая средневековая эпоха: безбожная и полная веры, насильственная и жертвенная, враждебная духу и вдохновляющая – она резко отличалась от мира XIX столетия. Навстречу большевистской идеократии поднялось на Западе содержательно враждебное, но по многим параметрам родственное структурно – “идеократическое” строение итальянского и немецкого фашизма» [Stepun 1962, 19]. В книге “Незамеченное поколение”, в главе “Погибшие за идею”, Владимир Варшавский назвал немало имен погибших участников Сопротивления – молодых русских эмигрантов, русских европейцев, выступивших на защиту Запада Европы от поразившей его болезни. Приведя несколько десятков предсмертных писем русских героев Сопротивления, приговоренных нацистами к смертной казни, Варшавский заключает одно из писем словами: “Даже если бы ничего другого не было написано эмигрантскими сыновьями, этого письма достаточно, чтобы без колебаний утверждать, что лучшие люди этого выросшего в изгнании поколения сохранили в душе все самое хорошее, простое, подлинное, высокое и светлое, что было в русском народе и в русской культуре” [Варшавский 2010, 283]. Посмертно они получили орден героев Сопротивления. Все-таки Степун был, похоже, прав, написав в полемике со Шпенглером: “Не верил я в неизбежную гибель Европы еще и потому, что ощущал историю не царством неизбежных законов, а миром свободы, греха и подвига”.

В 1933 г. он послал Шпенглеру свою книгу (*Stepun Fedor. Der Bolschewismus und die christliche Existenz*) в которой он рассказывала о России и ее трагической судьбе, о своих надеждах, о том, почему будущие герои слишком поздно поняли, что история, кроме объективных законов (к которым апеллировали большевики и идеологи консервативной революции, требовавшие от молодежи мужества в отстаивании идей “крови и почвы”), которым-де следуют массы, именуемые в эпохи глобального обмана “народом”, как писал Томас Манн, – дает возможность и личного выбора. И задача была в том, чтобы суметь удержаться на стоическом отказе от пути, которым шли массы. Это была очевидная полемика со стоическим приятием катастрофы, которое пронизывало все работы Шпенглера. Ибо, как полагал Степун, большевизм был порождением народного безумия, которым просто воспользовались бесы, то есть большевики. То, что это – безумие, что нет надежды договориться с безумцами, поняли образованные слишком поздно, многие погибли в России, в борьбе, как всегда, неравной, но уцелевшие и успевшие уехать потом, не щадя жизни, боролись в других европейских странах против того зла, от которого пала свобода их Родины.

Собственно, ответить на эту книгу Шпенглеру было нечего. Поскольку он, как и марксисты, и нацисты, и фашисты, искал объективные данности, которые действовали поверх личностных стремлений простых людей. В том же 1933 г., в августе, он выпустил книгу “Годы решений” (*Jahre der Entscheidungen*), которую Степун не мог не прочитать. А Шпенглер там уже совсем открыто публицистически писал: “История никогда не имела дела с человеческой логикой. Гроза, землетрясение, поток лавы, без разбора уничтожающие жизнь, родственный простым спонтанным событиям мировой истории” [Шпенглер 2007, 30]. Это высказывание очень напоминает позицию Герцена как человека, породившего Нечаева, прототипа русского, ленинского цезаризма: “Или вы не видите новых христиан, идущих строить, новых варваров, идущих разрушать? – Они готовы, они, как лава, тяжело шевелятся под землю, внутри гор. Когда настанет их час – Геркуланум и Помпея исчезнут, хорошее и дурное, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот...” [Герцен 1955, 52]. Неслучайно так любил Герцена Ленин, странно, что он не увидел в Шпенглере его немецкий извод. Шпенглер в отличие от Ленина откровенен: “Печальное шествие по пути совершенствования мира, со времен Руссо бредущее сквозь столетия и оставившее после себя – как единственную отметину своего существования – горы напечатанной бумаги, завершилось. На этой дороге появятся новые цезари. <...> Это и есть судьба” [Шпенглер 2007, 31]. Античные герои, как и христианские герои, с судьбой спорили, пусть и погибая. Трагические герои, по Гегелю, двигали историю.

Русские философы видели будущее Европы иначе, они чувствовали неоднозначность, ширину и глубину европейской культурной истории. Поэтому в грядущем видели они не торжество цезарей, а торжество духовности. Семен Франк писал в этом сборнике про Шпенглера и “Закат Европы”: «Христианство оказывается у Шпенглера вообще отсутствующим в роли фактора, определяющего культуру. <...> Концепции Шпенглера мы можем здесь только противопоставить иное понимание истории западной культуры. <...> Сочетание величайшей духовной свободы с глубочайшей непосредственностью и органической укрепленностью в духовной почве, сочетание, которое изумляет нас в особенности в Данте и в Николае Кузанском, длилось недолго. По причинам, которые лежат в таких глубинах творящего духа, что их, быть может, вообще нельзя анализировать и выразить в определенных понятиях, эта великая попытка *не удастся*. В глубинах духа совершается какой-то надлом; он отрывается от корней, прикрепляющих его к его духовной почве, связывающих его с объединяющим центром духовного света. <...> Таким образом, несомненная “гибель западной культуры” есть для нас гибель лишь одного ее *течения*, хотя и объемлющего несколько веков. Это есть конец того, что зовется “новой историей”. Но этот конец есть вместе с тем и начало, эта смерть есть одновременно рождение. <...> Старое “возрождение” изжито и умирает, уступая место *новому возрождению*. Человечество – вдалеке от шума исторических событий – накапливает силы и духовные навыки для великого дела, начатого Данте и Николаем Кузанским и неудавшегося, благодаря роковой исторической ошибке или слабости их преемников. То, что переживает в духовном смысле Европа, есть не гибель западной культуры, а глубочайший ее кризис, в котором одни великие силы отмирают, а другие нарождаются» [Франк 1922, 50–54].

В посланной Шпенглеру книге Степун все-таки тоже уповает на христианство, а также на интеллигенцию (на “образованных, знающих”). Он писал здесь о “христианской истине, которую предала Россия, о гуманистической свободе, которую не смогла усвоить Россия”, однако, добавлял он, “было бы малодушием потерять надежду на победу образованных. Было бы при этом легкомыслием не видеть, что шансы на борьбу у невежественных больше. <...> Не в последнюю очередь потому, что вся христианская Европа, потеряла себя, спеша по направлению к темным<sup>2</sup> (средневековым – В.К.) горизонтам” [Stepun 1934, 94]. Но идеи христианства и гуманизма совсем не входили в концепт Шпенглера, видевшего в СССР восстановление монгольского ханства, иными словами, инвариант победившего восстания масс: “Большевицкая власть не является государством в нашем смысле, каким была петровская Русь. Она состоит, как Золотая Орда времен монгольского владычества, из правящей орды, называемой коммунистической партией, с главарями и всемогущим ханом и почти в сто раз большей угнетенной, безоружной массы. От настоящего марксизма, кроме названия и программ, здесь осталось очень мало. На самом деле это татарский абсолютизм, подстрекающий и использующий в своих целях весь мир, угрожающий границам, будь то даже границы предостерегающие, лукавый, жестокий, прибегающий к убийству как повседневному средству управления” [Шпенглер 2007, 66]. А потому он ожидал, что “легионы Цезарей снова выйдут на сцену. <...> Перед этими решениями цели понятия сегодняшней политики совершенно ничтожны. Господином мира будет тот, чей меч завоюет победу” [Шпенглер 2007, 205]. Разумеется, ответа на книгу Степуна он дать не мог. Позиция Степуна была слишком прекраснотушна для Шпенглера, который был, по слову Томаса Манна, “всего лишь фаталистичен” [Манн 1960, 613]. Беспощадный анализ судьбы России, которая первой проложила путь к безднам тоталитаризма, и упорство сопротивления, на котором была основана немецкая книга Степуна, оценили русские эмигранты. Вот что писал о его книге Федотов: «Большевизм для автора есть “псевдоморфо́за”, или отрицательная форма этой русской религиозности. В анализе русской революции и особенно идей ленинизма, которому посвящена вторая часть, Степун вполне оригинален и вполне свободен от возможного упрека в схематизме. Убийственно вскрыты все парадоксы марксизма в крестьянской революции, дана мастерскими штрихами философия революции, как таковой, с ее гибелью реакционных и революционных идеологий, и даже нарисован конкретный образ большевицкой диктатуры первых лет, беспощадный и правдивый» [Федотов 1934, 94]. Скрытого мужества книги Степуна, рассказавшего о причинах большевицкой диктатуры, о том, что не Цезарь побеждает массы, подчиняя их своей воле, а человек взыскующий свободы, Шпенглер, похоже, не увидел.

### Источники – Primary Sources in Russian

Бердяев 1922 – *Бердяев Н.А.* Предсмертные мысли Фауста // Освальд Шпенглер и Закат Европы. М.: Берг, 1922. С. 55–72. [Berdyayev N.A. Pre-death thoughts of Faust. In Russian].

Бердяев 2012 – *Бердяев Н.* Самопознание: Опыт философской автобиографии. СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2012. [Berdyayev N. Self-knowledge. An attempt of philosophical autobiography. In Russian].

Гвардини 1990 – *Гвардини Р.* Конец нового времени // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 127–163. [Guardini R. The end of new time. In Russian].

Герцен 1955 – *Герцен А.И.* С того берега // *Герцен А.И.* Собр. соч. в 30 т. Т. VI. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 7–142. [Herzen A.I. From the other shore. In Russian].

Ницше 2005 – *Ницше Ф.* Воля к власти. М.: Культурная революция. 2005. / Пер. с нем. Е. Герцык [Nietzsche F. The will to power. Translated from German into Russian by Gertsyk E.].

Степун 1922 – *Степун Ф.* Освальд Шпенглер и Закат Европы // Освальд Шпенглер и Закат Европы. М.: Берг, 1922. С. 5–33. [Stepun F. Oswald Spengler and decline of the West. In Russian].

Степун 1990 – *Степун Ф.* Бывшее и несбывшееся. В 2 т. L.: Overseas Publications Interchange Ltd, 1990. [Stepun F.A. What has been and might-have-been. In Russian].

Федотов 1934 – *Федотов Г.П.* (Подпись – Г.Ф.). Stepun Fedor. Das Antlitz Russlands und das Gesicht der Revolution. Bern; Leipzig: Gotthelf-Verlag, 1934 // Новый град. Париж. 1934. № 9. С. 93–95.



Федотов 1973 – *Федотов Г.П.* Новый Град // *Федотов Г.П.* Россия, Европа и мы. Paris: YMKA-PRESS, 1973. С. 135–141. [Fedotov G.P. New Town. In Russian].

Федотов 1992 – *Федотов Г.П.* Рождение свободы // *Федотов Г.П.* Судьба и грехи России. В 2 т. Т. 2. СПб.: София, 1992. С. 253–275. [Fedotov G.P. The birth of freedom. In Russian].

Федотов 2014 – *Федотов Г.П.* Восстание масс и свобода // *Федотов Г.П.* Собр. соч. в 12 т. Т. 7. М.: Sam & Sam. 2014. С. 62–65. [Fedotov G.P. Revolt of masses and freedom. In Russian].

Франк 1922 – *Франк С.Л.* Кризис Западной культуры // Освальд Шпенглер и Закат Европы. М.: Берер, 1922. С. 34–54. [Frank S.L. Crisis of Western culture. In Russian].

Шпенглер 1993 – *Шпенглер О.* Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. Гештальт и действительность. М.: Мысль, 1993 / Пер. с нем., вступ. статья К.А. Свасьяна [Spengler O. The decline of the West. Vol. 1. Image and Reality. Russian Translation].

Шпенглер 2007 – *Шпенглер О.* Годы решений. Германия и всемирно-историческое развитие. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. [Spengler O. The hour of Decision. Germany and world-historical evolution. Russian Translation].

### Primary Sources in German

Stepun 1934 – *Stepun F.* Das Antlitz Russlands und das Gesicht der Revolution. Bern; Leipzig: Gotthelf-Verlag, 1934.

Stepun 1962 – *Stepun F.* Der Bolschewismus und die christliche Existenz. München: Küsel Verlag, 1962.

### Ссылки – References in Russian

Варшавский 2010 – *Варшавский В.С.* Незамеченное поколение. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына: Русский путь, 2010.

Ленин 1967–1975 – *Ленин В.И.* Полн. собр. соч.: в 55 т. 5-е изд. М.: Изд-во политической литературы, 1967–1975.

Манн 1960 – *Манн Т.* Об учении Шпенглера // *Манн Томас.* Собр. соч. в 10 т. Т. 9. М.: Художественная литература, 1960. С. 610–619.

Мандельштам 1993 – *Мандельштам О.* Петр Чаадаев // *Мандельштам О.* Собр. соч. в 4 т. Т. 1. М.: Арт-Бизнес, 1993. С. 194–200.

### References

Lenin V.I. Complete set of works in 5 volumes. 5<sup>th</sup> edition. M.: Izdatelstvo politicheskoy literatury, 1967–1975. (In Russian).

Mandelshtam O. Petr Chaadaev // Set of works in 4 volumes. Vol. 1. M.: Art-Business, 1993. P. 194–200. (In Russian).

Mann T. On the doctrine of Spengler // Mann T. Set of works in 10 volumes. Vol. 9. M.: Khudozhestvennaya literature, 1960. P. 610–619. (Russian translation).

Warshavsky V.S. The unnoticed generation. M.: Dom russkogo zarubezhia im. Aleksandra Solzhenitsina, 2010. (In Russian).

### Примечания

<sup>1</sup> Кстати, спустя годы, уже в эмиграции, Бердяев общался со Шпенглером, но отозвался о нем весьма не лестно: “Однажды я встретился в Берлине и со Шпенглером, но встреча не произвела на меня впечатления. Внешность его мне показалась очень буржуазной” [Бердяев 2012, 291]. Это, разумеется, не более чем штрих. Бердяев, как известно, был капризен в общении. Но штрих характерный. От Шпенглера, даже от его внешности, ожидалось нечто необычное.

<sup>2</sup> Dunkel – темный, но в культурфилософском контексте может значить также “средневековый”, имеются в виду “темные века”. Если вспомнить книгу Н.А. Бердяева “Новое средневековье”, то смысл фразы Степуна становится очевидным.